

Христос — Судия мира

Как пишущий по религиозным вопросам, я н у ж д а ю с ь в свободе. Было бы странно спрашивать, ж е л а ю л и я е е. Мы нуждаемся в хлебе и желаем его. Богослов, рецензент моей книги «В мире неясного и нерешенного», предпосылает разбору ее у д и в л е н и е, как она прошла через цензуру. Стало быть, в свободе я нуждаюсь и свободу я люблю. Но одно дело — любить, а другое — понимать. На вековечную жажду свободы Церковь вековечно отвечала отказом. Легкие передышки в смысле свободы длились минуты, и на минуту свободы приходилось столетие несвободы.

Есть, кажется, тенденция объявить это «случаем». Таково было настроение на Рел. фил. собраниях 1903—1904 гг., и его провозгласителем тогда торопливо заявил себя Д. С. Мережковский. Но я позволяю себе сказать, что такое пожелание теперь уже несколько поздно, и нравственное чувство солидарности человеческой требует признать, что в самом корне веры нашей не содержится принципа свободы этой веры; что мы действительно «понуждаемся войти», *compellimur intrare*, на «вечерю» Жениха, и только перед дверью входа делаем «*bonne mine au mauvais jeu*» [1 - «хорошую мину при плохой игре» (фр.).] и заявляем, что это мы «сами» и без понуждения идем. Но обратимся к разбору.

В Евангелии п р я м о г о указания на физическое касание и вообще телесную угнетенность «отщепенцев» и «сопротивляющихся» — нет. Но предпосылки для него — есть; малые, большие, вообще все — вплоть до самого вывода, весь силлогизм: только без конечного заключения. И от Августина, преследовавшего монтанистов, до нашего времени. Церковь, р а з р а б а т ы в а в ш а я Евангелие и вникавшая в него в н и м а т е л ь н е е, чем л ю д и с о с т о р о н ы, владела невольно в эти предпосылки, приставляя к ним, в сущности, уже коротенький факт преследования. От подробностей этого преследования, иногда не по времени жестких, она поправлялась; извинялась за них; но это — более в глазах мира; от существа же его никогда не отступалась — в Германии, у католиков, у славян и греков, везде, где проповедано «лето благоприятное». Грубо и элементарно говорят: «Христос не преследовал». Но Он и не женился: а нам жениться можно. Отсутствие совпадения с Христом еще ничего не доказывает: «что можно Богу — не всегда можно человеку». Христос бесспорно повелевал стихиям, людям, бесам. А повеление Бога есть п о н у ж д е н и е мира. Люди, повелевая, еще н и ч е г о н е д о с т и г а ю т: тогда они прибавляют понуждение — и факт с о в е р ш а е т с я. Божий путь течения фактов — ибо история есть продолжение и восполнение природы — у человека совершается при некотором телесном напряжении: а Бог «все сотворил словом». Мы не боги, а жить как-нибудь нужно. Глаголы наши не творческие, и мы прибегаем к делу. В изречении Иисуса: «Никто не может прийти к Отцу токмо как через Сына», я нахожу предпосылку, уже введшую в узкий путь не только духовного, но и телесного стеснения. Если ни к Отцу нельзя прийти, ни к Сыну не приходиться: то с чем останешься? Без Бога. Это — ужас. Прежде, взирая на природу, — узнавали Бога; из недр своих познавали же Его. Но теперь все кончилось: «Аще не родишься водою и Духом — не можешь войти в Царствие Небесное». Отрезанность от Бога «токмо как через Сына», все в свою очередь передавшего «Петру», — создала иерархию, перед дверями которой заметалось человечество; а иерархия и сердобольно, и сурово понудила, да и самым положением своим понуждается «заставить их войти». Прежде на звезды посмотришь, на лилии полевые — и захочешь помолиться, и сумеешь помолиться. Теперь всему можно только научиться у священника, «право правящего слово». Вне его — темь, небытие. Не «что-нибудь» остается человеку, а — ничего. «Кого не развяжете — и не будет развязан». Не нам эти слова сказаны. А выслушавшая их иерархия не могла не проникнуться самоощущением, о коем не нам судить. Мы имея путей к «Петру» и через него — «к Сыну», мы остаемся лишь с ботаническими растениями и физическими звездами; впадаем в животное состояние, в стихийную неблагодостоенность, из которой как не вырваться?! как не должна усилиться вырвать нас иерархия?! В линии религии мы остаемся, как политик — без государства, медик — без пациентов, писатель — без книгопечатания. Это — такая «мель», с которой всяческими усилиями нужно стащить человека. Ночь вне иерархии. Тьма — вне церкви. Какое средство тягостно, больно, чтобы вырваться отсюда? И ребенок кричит, ему больно — когда рождается; но через боль он входит в жизнь. И когда в религиозную жизнь никаких нет путей, кроме одного, человек если не входит, то проталкивается в него. Ущемляется, кричит — но проталкивается. В словах «Ты еси Петр» и «не приходят к Отцу токмо как через Сына» — я нахожу сужение путей веры, доведение его до единственного. Тропка вьется через Сахару; одна; по сторонам ее — костяки погибших. В этом, так сказать, закрытии таможенной линии, кроме одного пункта перехода «в свет», я нахожу достаточную причину для религиозной уторопленности, ужаса, давки и смятения в одной точке, подробности которых и составили «преследования». Ведь до этого «одного пути» в мире вовсе не было религиозных преследований. Не было самого этого понятия. Архимандрит Антонин сделал ошибку относительно евреев: у них не было прозелитизма; пророки говорили иногда всем народам — ибо Бог над всеми ими, у всех их. Но никого они не загоняли и даже никого усиленно не звали. Евреи только не обшились с другими народами; но это другое дело. Христиане же ко всем идут «в братцы» с требованием, чтобы «братец» самоуничтожился и принял в себя, как в мешок, «новое вино». Жар «апостольский» есть новое после Христа явление, не слыханное в эпическом покое древности.

Боль «пути», боль «рождения в свет Христов» кажется не отвечающей «лету благоприятному», и те, которым это так кажется, настаивают, что подобности стеснения на одном пункте уже идут не от Христа, противореча Его благодати. Но не Он ли изрек — «будут скорби»; «будут, когда отнимется у них Жених». Какие же «скорби»? Болели, умирали, задавливались башнею, калечились люди и при Христе. В «будут скорби» указаны какие-то специально христианские скорби, после Христа имеющие начаться, от Христа-Судии мира идущие, — и, я думаю, некоторые «затруднения» верующих и стеснения в вере, вплоть до историй с сектантами, — входят сюда. «Я принес на землю м е ч и р а з д е л е н и я» — вот, так сказать, собственное имя около нарицательно и общо поименованных выше «скорбей». При Христе, правда, не теснили, но уже сейчас же после Христа начали теснить: раньше всего ап. Павел за привязанность к Ветхому Завету, обрезанию; правда — еще словесно, но уже очень пылко. «Жених» был еще близок, не отошел вдаль. В царский ведь день все являют радостное лицо, и у кого есть в доме покойник — удерживаются погребать его; «пусть будет все иметь вид как бы нет покойника». Но завтра все равно придется хоронить. Припомним и греческую трагедию с этой удивительно тонкой чертой в ней: казнимые выводились за дверь. Но казнь не отсутствовала. Поэтому, я думаю, ссылка, что в Евангелии никто не теснился и что даже Иисус «божески и царственно» повелел Петру «вложить меч в ножны», — не кончает спора. Где есть ревность — обнажится меч; Петр при «Женихе», не опустил его на виновного. Но «когда отнимется Жених»? Не знаем. Не будет Царя, лично удерживающего, и меч, конечно, опустится. Я думаю, кто создает к себе пламенную ревность — создает всю психологию «меча». Ведь известно, что «душа владеет телом». Поразительно, что, так сказать, газы христианства развиваются, как при выстреле из пушки: сперва искорка, а потом — неуправляемая сила. Уже Павел почти преследует; прозелитизм — необычайно возрос; да и раньше апостолы хотели с в е с т и о г о н ь на

«не принявшее Иисуса». Но «Жених» еще удержал. Только издали Он сказал: «Содому и Гоморре будет отраднее в день Суда, нежели городу сему, видевшему такое знамение и не принявшему Меня». Но это как зарница, еще без запаха серы и вообще без ощущений физических.

Наказание Иерусалима именно в его подробностях, вплоть до «Элии Капитолины», до пламени, вырывавшегося из-под земли при попытке возобновить Иерусалимский храм, все бешенство Баркохбы, воскликнувшего «Скорей уж я Мессия», и неудача его, и эпизоды, как случай съедения матерью от голода ребенка, — причем, однако, верные евреи все еще приносили «утренние жертвы» (таמידы) по заповеданию Синайскому: неужели нужно доказывать, что это есть не параграф Римской истории, но перелом всемирной — иудеохристианская тайна? Иерусалим был н а к а з а н — кто станет против этого спорить? Да и наказание до такой степени подробно предсказано в Евангелии, с такой решительностью — что нужно все христианство считать апокрифом, чтобы усомниться в этом. А где есть наказание, есть и б о л ь, и где есть принцип наказания — есть и п р и н ц и п б о л и. Я не удаляюсь от темы нашего вопроса, я стою в самой середине ее, ибо, очевидно, все протесты против преследования сектантов исходят, между прочим, из совершенного отказа понять или признать б о л ь в христианстве, б о л ь — в Евангелии, б о л ь — во Христе: каковая считается идущей от человека — и именно от человека, еще по тупости сердца «не принявшего в себя Христа». «Где Христос, там уже прекращается боль» — это несется не только в наших собраниях, но и во всем мире. Счастливое новое «благовестие»... Старое «благовестие» — н а ч и н а е т с я с боли, а кончается ее раскатами на кресте, у Каиафы, перед Пилатом, на дворе среди воинов ругающихся и — дальше, больше — вплоть до Элии Капитолины. Скажут: «это от людей». Позвольте, «...и оружие пройдет через сердце твое», выслушала Божия Матерь уже при самом рождении Иисуса. Неужели мы будем понимать Евангелие как сплетение легенд или «схождение» случайностей? Значит, «оружие через сердце Марии» уже было в «Небесах» предопределено. Для чего? Виновна ли она была? Никто не скажет. Менее всяких сектантов. Но если Пречистая Матерь пострадала, значит, страдание входит в какие-то планы мира; и относительно Девы Марии не можем же мы не заметить очевидности, что Предопределивший быть разрушенным Иерусалиму, Сошедший в ад и победивший его, упразднивший грех, — слишком имел во власти, чтобы Его Пречистая Матерь видела славу и чудеса Сына, любовь к Нему человеческую до 32 года, и опочила в радости и спокойствии хотя бы за несколько недель до Голгофы. Но не было ни спокойствия, ни радости; и, может быть, под крестом было еще тяжелее, чем на кресте... По крайней мере, божеской силы для перенесения «скорби» не присоединилось здесь к слабой человеческой силе. Но кто ответит, для чего все это? — Когда явно с самым актом искупления рода человеческого это уже не было в связи. Мука для муки; без вины; и при полной свободе и даже, так сказать, наглядности, вот сейчас в очах — отвести в сторону «оружие» мимо сердца стоящей тут Матери?! Значит, «было соизволение»... По крайней мере, я комментирую так же точно, как и Кирилл Александрийский, писавший, что «Иегова шел перед Израилем в виде столба с намерением предсказать изречение: «Церковь есть столб и утверждение истины». Много занимались намеками, «прообразами», «тремя смыслами каждого слова: буквальным, аллегорическим и символическим» — и упустили из вида очевидность осязаемого факта. Мука Божией Матери да научит нас покорности. И быть покорным в муках вообще есть удел человека. Сектанты напрасно волнуются. Мы входим в неисследимые тайны Евангелия. Не в явное в нем, а в сокрытое, но что и раскрылось в веках. «Гомеопатические-то доли и действительны», — заметил где-то кто-то о психологии. Действуют «пассы», а не удар кулаком. Туманы, намеки, таинственные шепоты, безмолвные почти жалобы, свет глаз, бледность щек: а не действует явная сплетня или уличная брань. Вообще все грубое, так сказать аллопатическое, не действует, и, например, старики со своим раздражением так и проходят мимо дела, крича напрасно. Оглянемся на себя: повеление, окрик — вызывает протест; а ласка — охоту к повиновению. Поэтому чем больше вы унежите слово и чем больше есть у вас к этому таланта, но не поддельного, а настоящего, «вдохновенного», тем более великих результатов вы достигнете. Возьмите же это в пределе. Унежьте слово свое до небес, до невероятности, до «несбыточности» для слуха человеческого, которому вдруг покажется, что он всегда ожидал и надеялся на что-то подобное, но ничего подобного от человека не слышал, — и вы достигнете среди бедных людей такого ответного рыдания себе, восторга, бурь, потери памяти, забвения действительности, что, поистине, от «слова» произойдет на земле Божеское действие. Я уже заметил, что серного запаха при наказании нет в Евангелии. И поразительно вообще, что физические ощущения исключены из него. Люди вкушают, пьют; но и яства и питья как без вкуса, и люди нигде не сказали «горько», «сладко», «солено», «кисло». Евангелие не без причины стало единственной книгой, в кютах хранимой, — как Бог: до того оно на все человеческие книги не похоже, имеет как бы разрыв с обыкновенным человеческим словом. Небо и земля полегли между ним и прочим. Но вот еще особенность, самая поразительная, и которую никогда-то никто не заметил: чудо и явная небесность евангельского слова выражается в том, чего никому бы из людей достичь не удалось: что самое наказание в нем выражено столь нежно, что мы его вовсе не замечаем, как бы исчезает его геометрия и физика, есть транс, у читателя — исторгаются слезы: хотя наказываемому очень больно. И при первой попытке болящего закричать — мы почти готовы бросить в него, как Лютер в черта, чернильницей. Крик расстраивает все и приводит нас в бешенство.

Таким образом, человечество введено в рыдательную покорность любви. Через необыкновенную нежность всякое сопротивление сломлено; сердце, все благородное в человеческом сердце — как бы само одевает узы на руки свои, и почти ищет ран. Недаром у многих святых образовывались «язвы» на ладонях от мечтаний. Узник, который будет сам себя сторожить в темнице, — уже наверное не убежит. Вот этого духа повиновения совершенно нет в Ветхом Завете. Там наказание коротко, физично — и в сущности Израиль никогда не боится. Дух свободы — даже буйства — там удивителен; и точно как будто Иегове, пророкам — нравится это буйство. Они с ним борются, как конюх с норовом лошади, как мать с гениальным ребенком; но из резвого, пылкого соделать что-то робкое и повинующееся, выработать: «да житие тихое и безмолвное проживем» — перед этим они ужаснулись бы. Кость нарастала в Ветхом Завете. В Новом она суживается, упрямото исчезает, упрямото есть главный враг «святости», «круга святости»; все размягчается, кости растворяются, и вырабатывается бесконечная податливость человека во все стороны — между прочим, причина образования великих европейских монархий. Грозного все еще любят, даже слагают заунывные песни в его память. Всех вообще любят. Кроме «упрямца». «Упрямец» есть вообще несимпатичное лицо в европейской истории. Можно заметить, напр., в Церкви, что она всякое распутство простит, Содом, Гоморру, всяческий Вавилон: но насупленных против себя бровей она никогда не простит. Мария Египетская — идеал святости. Ей сложены каноны, службы. Почему? Какие заслуги? Пришла и «облобызала руку» церковную; села в тюрьму и забросила в море ключ. А это — идеал. Это — венец. Это — Монт-Эверест христианского спасения. Повиновение — но заметьте — с восторгом повинующегося, с бесконечным неуважением в самом неповиновении к собственному неповиновению. Сюда входят притчи как о блудном сыне: «Ты можешь куда угодно уйти, на полюс, в Вавилон: но ниточка между тобой и мной не порвется, и ты все равно вернешься». А это главное, и даже это все. Тюрьма «увенчает твоё распутство, и даже тем прочнее, чем оно шире». Тут что-то мировое, какой-то мировой план, как система рычагов, костей и нервов в самовозобновляющемся и самоуправляющемся организме. Узники суть собственные свои стражи, и царь тюремного ведомства есть главный Узник и наиболее себе «позволивший», далее «ушедший» от Отца... Что-то автономное, автокефальное, в цепи наказаний и вины. Если, напр., взять институт монашества, добровольное лишение себя семейной жизни — детей,

«помощницы»-Евы, потомства, воспоминания о себе: то какой энтузиазм любви лежит под этим, упоение лишением, лобзание уз, восторг перед темницей! «Сокрушены кости»... Но как? Но чем? Гомеопатией: «Если ты можешь, — но, впрочем, не как Я хочу, но как ты хочешь». Эта-то «свобода» хотения и пронзила благородного человека. О, тогда он «восхотел»! Он бросился, прошиб головой дверь тюрьмы, уселся в ее самый темный угол, с «не хочу» на всякий позыв освобождения. Как будто Гоголь не «добровольно» уморил себя голодом?! Да, есть неволя паче свободы; алмазная; это — неволя добровольная, «своя», возлюбленная, опозитизированная. Но как она достигнута? Нежностью. «Иди, но ты вспомнишь обо мне»; «я ничего от тебя не хочу, но, может быть, ты сам захочешь». «Памятка»-то, ниточка-то положена на сердце. И уж она вырастет в шумящий дуб — куда бы вы ни скрылись, куда бы ни забежали. «Камо бегу от Господа?..»

Аллопатия же вся прошла мимо, не возбудив нисколько, не приведя в восторг. Просто — не послушались, и совершенно спокойно. Кто же усиливается и «упоется» быть «миротворцем», «чистым сердцем», «быть изгнанным правды ради»? или боится разбогатеть, помня прямо грозные слова о судьбе богатого юноши? Кто подражает Лазарю? Это — слишком крупная картина. Ударила по взору, а в сердце не вошла. Туда вошло только незаметное, почти отсутствующее: так, «веяние духа» было — и, кажется, его нет; но «было», в самом деле «было», и растет в сердце, все выжимает из него, наполняет его. Огромное дерево шумит из «горчичного зерна»... И весь небосклон, напр., заволочся монашеством, на каких малых «иотах» основанном, предоставив по «путям блаженства», на «горе» провозглашенным, шествовать кому угодно, ну, хоть босякам; вообще — кому угодно, и хоть никому — так все равно. Никакого действия. Но ведь уж такова область религии, что в ней «еще что на земли, то и на небеси»; — и тут все в «звездах», до подробностей...

Когда я много лет назад писал «Место христианства в истории», то, кончив главу о евреях, хотел заключить ее каким-нибудь текстом и, открыв Евангелие, случайно и в первый раз (раньше не заметил или не запомнил) прочел:

«О, Иерусалим! Иерусалим! Сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, но вы не захотели: с е о с т а в л я е т с я дом ваш пуст». Меня до того поразила красота этих слов, что я в о з н е н а в и д е л Иерусалим. Душа парализуется такою красотой. Не умеешь размышлять. Перестаешь видеть. Все заволакивается небесною нежностью; ибо ни одна земная мать не сказала слов о своем малютке с таким изгибом. «И вы не захотели»... — «И они не захотели — распни их!» — почти вопишь вслед Титу. Ударенное сердце нисколько не напоминает, что ведь «предлежащие к распятию» кричали: «Осанна! благословен грядый во Имя Господне» — и пальмы, и одежды под ноги идущей ослице. Ничто не помнишь. Как зачарованный. Придет ли на ум сосчитать, что 11 учеников — раз, самарянка и Никодим — 13, Лазарь, Марфа и Мария — 16, Закхей, сотник Иаир с дочерью и женой — вот уже 21 какой красоты, каких праведников! простых, смиренных, послушливых, любящих. До чего любящих! Таких сердец от начала мира не рождалось! И вспоминаешь, параллельно, Авраамово, но вспоминаешь много лет спустя, очнувшись: «Господи! может быть до 50 праведников не найдется в Содоме и Гоморре: но может быть ты пощадишь города те за 45 праведников»; и дальше это ползущее: «Господи, вот я у ног Твоих, я раб Твой: может быть не хватит до 45», «до 30», «до 25», «до 10». — И утомленный просьбою Господь сказал: «Пощажу, если найду только десять праведников». Так это — Содом и Гоморра, а тут — Закхей: «Половину имущества отдам, если увижу Иисуса: а на остальную буду жить. Не могу всего отдать. Скуп. Грешен». Ну, положим, «грешен», и вообще все Иерусалимляне этого времени были ужасно «грешны». Так ведь есть на такой недуг аллопатия, большое слово, широкий глагол: «не праведники нуждаются в помощи, а грешные»; «не семь раз надо прощать, но седмижды семь»; «пришел ради погибших овец дома Израилева», и «об одной заблудшей овце больше радости на небесах, чем о 99 незаблудших». Но столько лекарств не действовало, и участь до вопля: «Горы, падите на нас!» — совершилась над содомлянами с Закхеем и Лазарем. «И шло за Ним великое множество народа, и женщин, которые плакали и рыдали о Нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал: — «Дщери Иерусалимские, не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Ибо придут дни, в которые скажут: «Блаженны неплодные и утробы не родившие и сосцы не питавшие». Тогда начнут говорить горам: «падите на нас», и холмам — «покройте нас» (Луки, 23).

А нам говорят — «нет боли в Евангелии». Обращаясь к выписанным словам и размышляя о них, мы опять поражены противоречивым смещением, в сущности, ужаса в сердцевине слов с такою нежною оболочкою вокруг их, что как — через фотосферу солнца мы не умеем разглядеть темного ядра в нем — так и здесь прямо забываем, о чем в этих словах говорится. Музыка их, сердечная музыка, повергла нас в транс. И как в них все соединено! Все, что на земле мы любим, — есть и тут. И как мы любим на земле, в каком соединении — в этом самом соединении, без разрыва ниточки, взято все и здесь. Поленица органических явлений несется на костер, но ни один жучок под корой которого-нибудь полена не раздавливается. Напротив, «хромые начинают ходить», и «не видевшие получают зрение». Все славят Царский День, в который не бывает печали. Весь Израиль в цвету — когда корень Израиля, лежащий в субботах, в обрезании, уже так глубоко подрублен, отодвинут в «ненужное» разливающимся поверх всего законом «высшего милосердия»! Когда исцеляются болезни и воскрес Лазарь — для чего старое размножение? Теперь настал час «сотворить новых чад Аврааму» — «духовным рождением», от Павла до Лойолы. Зачем теперь старые средства, «глина» и «дыхание Божие», повеявшее в элементах природы? Да, небесно все это, планетно... «Дщери Иерусалимские — плачьте о детях ваших». Как Он их любил! «Не отделил»... Да в чем не отделил-то? В страдании, около молока матери положив кровь агнцев. Но сердце горит в нас неспостижимую ответною на любовь любовью. И как город взят: в нежном средоточии своем, в женщинах, и это достигнуто через простую замену: «о, Иерусалим!» — «дщери Иерусалимские!» Иисус, уже идя на собственное страдание, как бы обертывается и любит на извечное любование Израиля: на эти локоны, повитые печалью. И все — печально. А в средоточии — Он, печальник. Вся жалость прямо небесно-сплетенных слов одевает Его слезною ризою, которой не забудет человечество. «И восскорбел духом: где брат мой Лазарь»... Это — в другом месте. Обращаемся к настоящему. Вот «птицы небесные», которые «не захотели» под крылья. Да как они не захотели-то? Идут вослед, рыдают. Это арифметика. Опомнимся же и схватимся за арифметику, чтобы что-нибудь понять в странной нравственной книге, где мы все плачем о наказующем и ни разу о наказуемом. Ну, пусть была в Иерусалиме какая-то шайка, которая кричала на дворе Пилата — «распни Его». Так это ведь, очевидно, шайка подобранная, договоренная; это — катилиновцы, а не Рим. Кто же жмет из-за Катилины Рим? А это — «град Давидов», «град Соломонов», «возлюбленное место Божие», ИЕРОУСАЛМЕ. Сколько обетований, пророчеств: что Москва и ее предания! В Москве подвизались Савин и Соська-Золотая Ручка, достойные аналогии Иуды и черни на дворе Пилата. Был бы печален приговор: «снести Кремль из-за Савина». Из двух разбойников — один какой! Ну, господа, в наших собраниях нет такого разбойника: в ладонях и ступнях гвозди, а он каким словом вздохнул! Помним и повторяем до сего дня: «Приими меня, егда приидеши во царствии Твоем». Нет, да это какой-то город Сократов, когда из двух Савиных оказался один Сократом. Возвращаюсь еще раз к пророчеству о женщинах. Глаголы Божии суть события истории. Это — не предвидения имеющего совершиться по естественным законам, а — повеления, иногда вопреки естественным законам и поборающие их. Где нет воли в слове — нет и пророчества. Есть только гадание, предсказание; какое-то волхование, приличное человеку, подглядывающему внешние знамения, а не Богу, изводящему

из Себя историю. Творец истории, Иисус, таковым не занимался. Великая aberrация умов христианских заключается в том, что они имеют при чтении Евангелия половину воззрения теистического, а половину антропоморфического, и когда говорят: «погиб Сион, ибо не принял Иисуса», то имеют на Иисуса не божественное, а антропоморфическое воззрение, и говорят о праведнике, за которого город наказал Бог. Отделяют Бога от Христа, когда этого нельзя. Здесь одинок, глаголющий и творящий, и пророчество Христово уже влечет события, как нога идущего тащит башмак. Не было бы пророчества — не будет факта; а стало быть, если бы ло пророчество, то факт непременно будет, сбудется, и — не станем же впадать в антропоморфизм — он сбудется в следствии пророчества. «Будет» в устах Божиих равно «да будет». Повторяю, нужно стать на точку зрения древнего Евгемера и разложить Евангелие в мифы, чтобы вынуть из него повелительную и нудящую часть, так сказать — момент небесной воли, небесного понуждения: но на этот раз Небо было сошедшим на Землю, вера в это — есть сущность христианства; и невозможно быть христианином, чтобы в то же время как бы не повалиться навзничь от сознания: «какая же мука и именно невинных-то мука проходит всюду здесь!» Говорят, Ирод сгнил в червях. Не знаю, кричал ли он: «Земля, засыпь меня». Но и эти плачущие женщины умерли... нет, в силу пророчества — на казаны были, как Ирод. И от того дня и по сей день, до сектантов, т. е. более пламенно верующих, чем официально православные люди, мука-то у христиан и в христианстве именно и постигает нежных, любящих, глубоких, кротких. Тогда нам вдруг открывается смысл на общее заключение: «Будут, которые скажут Мне в день Последнего Суда: «Господи, Господи, не мы ли призывали имя Твое». Но Я скажу им: «Не знаю вас: идите в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его»».

Полное недоумение — я говорю о человечестве в последний час, когда «раскроется все». Слова эти, что Иисус «не узнает», нет — «откажется узнать» Своих исповедников в последний час, я считаю или таинственной обмолвкой, как-то загребленную в священные тексты вне преднамерений Сказавшего, или излишнею, до края, до головокружительности — дерзостью. «Все равно: будут открыты очи — и не увидят, услышат — и не поверят: Я, Жених — с ними». Последняя тайна в этих словах сказана: что же может быть этого ужаснее? Идти, идти, до могилы идти, страдать; там, за гробом, в каком-то «среднем месте» брести — до «берега»... «Вот берег!» Но с того берега, с какого-то таинственного еще другого берега послышится предреченный глагол Жениха: «Это — они, узнаю их... И — не знаю: пусть идут в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его». Ужасно. Но ведь это написано! И смеем ли мы переменять глагол Иисуса? Говорят комментаторы, что это сказано о «богатых», а не о Лазарях — о фарисеях, а не о Закхее с сотником и кающихся Магдалинах. Ну, у тех не такой язык сытый: это — голодненькие и маленькие, это — робкие и надеющиеся, это их тон, нищих: «Господи! Господи! Не мы ли призывали имя Твое!» Это — центр христианства, подлинный, нравственный, и с ним-то в час Последнего Суда совершится то же, что с «дщерями Иерусалимскими» при начале пути. Нам кажется это невероятным, чтобы измена и «неузнавание» произошла в отношении тех, о коих Церковь поет сейчас: «приидите, верни и». Невероятно по качеству любви их к Иисусу: но, уж поверим факту, что ведь тоже «любили» шедшие «во след Ему множество народа и женщин, и плакавшие о Нем». Нет, в любовь-то, именно в любовь и капнет отрицание; в Сахару любви — как бы дуновение с ледяных вершин Монт-Эвереста. Ибо это совершенно холодные слова: «Не знаю вас — идите от Меня в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его». Единственно холодные в Евангелии слова. И это — на краю, дальше которого — ничего. Но мы «видим» и не понимаем, слышим — и не верим. Имея очи — не зрим, и имея уши — не внимаем», зачарованные, в какой-то рассеянности и задумчивости.

Еще относительно Иерусалима, который не выходит у меня из головы. Жители его ведь признали Иисуса «Илию воскресшим» — и только в простосердечии, и лишь на улице, толпою, удерживались признать «Богом», помня слова: «Да не будут тебе Бози инии разве Мене». Последние слова, для нас так себе, — были для евреев национальные слова, с Синая, это был Кремль и Рюрик Израиля. Им поколебаться в них было мучительно. Мы скажем: «Они не узнали Мессии». Но позвольте. Вполне-то «узнали», сверив все пророчества, ученые Александрии и Сирии, в течение четырех веков, — проследив все намёки в псалмах и у пророков. Ученая работа проверки совершилась позднее. Надо было разгадать все «прообразы», напечатать в пророчествах с прописной буквы такие неясные, общенарицательные слова, как «Сын Человеческий», «Отрасль Давида», «Мой любимый Отрок» и пр. Возможно ли же было, чтобы улица, площадь, толпа, частью безграмотная, а наконец и ответственные вожди Израиля признали Его Мессиею, и притом до оскребления и я?! Если Фоме, близкому ученику, было позволительно усомниться, чего же требовать от далеко стоящей толпы народной? Да и Фома судил по сле воскресения, увидя осязательно Воскресшего. А Израилю приходилось изменить «да не будут тебе Бози инии» праведного воскресения, т. е. до самого поразительного и для нас самих лишь окончательного и убедительного факта. Если бы Христос не воскрес, и мы усомнились бы, Мессия ли Он. Но ведь Он не воскрес до воскресения: за что же было судить Израиля, воскликнувшего о человекообразном Чудотворце: «Он Илия, сошедший с неба, Иоанн оживший: но Сын Божий — о таком не слышали ни от Моисея, ни от пророков». Заметим, что у пророков и в псалмах есть об «отрасли Давида», «Отроке», «овце, ведомой на заклание». Но определенительное учения, и даже термина о «Сыне Божием» — нет иначе, чем в смысле, что все люди суть «сыны Божии». Таким образом, евреи остановились принять нечто неслыханное, невозможное, невероятное, противоречащее и «Аз есмь Господь Бог Твой», и «не будут тебе Бози инии разве Мене». Они затрепетали в страхе: и как Господь через Моисея повелел тяжело наказывать даже за нарушение четвертой заповеди о субботе, так это нарушение двух первых заповедей, и притом личное и сейчас, на глазах у них, и вызвало ужасную и роковую их ошибку об Иисусе. Еще раз настаиваю: если Фома ошибся — позволено ошибиться и Израилю. А если Израилю позволено ошибиться, то, конечно, и Тит, и «Горы, падите на нас» — безвинны. Безвинная мука есть. Это столп: песчинка коего — и безвинные страдания сектантов, верующих и проч. Вообще, тут «пуп» земли, стержень религии. Его надо не обойти, а столкнуть: тогда вы останетесь без религии, при рационализме. Религия есть тайна. Религия есть неисповедимое. В религии есть — Альфа и Омега. В концепцию Омеги и входит мука, гроб, смерть. Невинных сектантов — понимаю; что от преследования их рушится, хладеет, существует только формально сама Церковь — понимаю же. Но я думаю и уверен, что тайна их гонения лежит именно в загадочных сторонах Евангелия, а не в заботах о Церкви: и оставь их в покое, то Церковь собственную уже грудь стала бы разрывать так же мучительно, ибо figur[2 - неистовство (лат.)] без объекта обратился бы на ее собственные внутренности.

Даже в юриспруденции есть косвенные доказательства. Вся наука не прямо видит, а косвенно выводит. Вообще косвенное и роль косвенного громадна. Это мир потенциального будущего, туманного, «начертанного в звездах»; в противоположность мешающему реализму, который мечется в глазах. Смеем ли мы сказать, что в Евангелии нет косвенного? Гораздо более, чем прямого: и этого-то христианство и находится в неуклонном росте, как разгибающийся лук. Субботы пали, обрезание пало, весь Ветхий Завет — «Завет Вечный» по слову Божию — пал в первое же столетие после Р. Х. Между тем в Евангелии, например, ни одного прямого отрицания ни обрезания, ни суббот нет. Но нет ли косвенного? Да мне кажется, в отвержении Израиля, в «Се дом ваш оставляется вам пуст», и отвергнут весь Ветхий Завет: ибо именно «Дом Иаковлев», 12 колен, и были в своем роде «возлюбленным Отроком». И, так сказать, «субстрат», «субъект» Ветхого Завета, «житель дома», — буквально для Израиля то же, что для нас Иисус, — и был сброшен в ничтожество, в небытие. Дело в том, что было «два Отрока»: Иисус и Израиль. Мы выбрали Иисуса — и отвергли Израиля; но Израилю-

то посетили по-нашему — просто как над собой совершить последнее решение Иуды: «пойду и удавлюсь». Израиль уперся, и уперся именно основываясь на своем «возлюбленном отрочестве», столь ясно оговоренном через Моисея и пророков Иеговою. «Не может быть, чтобы Отец меня отверг». Израиль не мог усомниться в своей богосыновности; счесть себя Божиим «подкидышем». «В Исааке наречется тебе семья». А тут выступили «Измаил»-эллин, «Измаил»-римлянин, «Измаил»-славянин, германец, кельт. Ведь все в связи. Просто Израилю показалось невероятно. И пророки, и Моисей, и Давид — все обманулись, баюкая «подкидыша».

Еще одно замечание касательно «косвенности». Ап. Павел, убеждая евреев, сказал как бы в себе субъективно: «Я хотел бы быть отлученным от Иисуса ради братьев моих по крови, евреев». Так он любил их. Плачем. Лобзаем золотое слово. Какая любовь! Да и везде в Евангелии эта любовь, аналогичная. Но золото-то этой любви все осталось на любящем, во славу Павла; а на любимом странным образом остался какой-то чужеродный мазок: гибель и беславие Израиля; да что гибель — ненависть наша к «любимому»?! Вот пример «косвенного». Ап. Павел не только не «отлучился от Иисуса ради братьев своих», но начиная именно с него, и началось разлучение бывших «братий его» — от «эллина и варвара», с выдвиганием их вперед, наверх, и с понижением, потоплением всей барки с «братиями». Но как все это выражено неуловимо: через любовь, а не через гнев! Но поистине никакой гнев не совершил бы того, что эта разрушительная любовь. Да, от «любви» евангельской горы повалились и сравнялись с долами. Этот «тихий ветер» — потряс основание земли и сорвал вершины гор. Теперь вместо «Моисея» и «Ревекки» — «Мошки» и «Ривки»; не пророки, а сапожники. Мы их прямо ненавидим — под «нежным словом», их задавившим. Но в этом «гетто» человечества, куда гордый христианин не может войти, не зажав носа, есть очень аналогичное Павлову слово — их национального законодателя: «Господи, если Ты решил истребить народ Твой: то изжени и меня с ним вместе из книги Живота». Это была минута особенного гнева Божия после золотого тельца — но Моисей не убоился гневного Бога и все же вступился за легкомысленный народ. Однако, уже обманувшись с «любовью к братьям», мы отлагаем судить и об этом золотом слове до окончательного итога. После золотого тельца — что дальше, то хуже: то перед манной, то перед перепелами, то без свежей воды — народ вечно волнуется и ведет себя невозможно. Ведет себя именно как «возлюбленный Отрок», забывшийся в счастья и бесчинствующий на отпуске бесконечного повода. Наивная вера одушевляет его: «все равно, Господь меня любит». Та к ведь подлинны дети, в отличие от подкидышей, и чувствуют себя. «Что мне делать с народом сим?» — выговорил, видя это, раз — тоже субъективно — Моисей: «Я носил его на руках моих, как мать носит в утробе младенца своего». И сказал еще слова усталости и жалобы к Богу. Да, Моисей жаловался. Но он в обетованную землю с а м не вошел, а народ до нее д о в е л. Так вот она, подлинная-то и фактическая-то любовь, без странного осадка сажи на «родном». Все возлюбленному родному простишь, всякий порок, шалость, заблуждения, озорство, ну... как «блудному сыну». Но оказывается, есть «блудный» и «блудный» сын: манящая-то притча о нем была Израилем выслушана; столь нежная, что подобной во всем Ветхом Завете нет: а как дошло время, то Веспасиан с Титом и дали résumé к притче о «блудном сыне», который двадцать веков прыгает на морозе. Это и есть «косвенное», о котором я говорю. То есть, что новая нега, в противоположность ветхозаветной, только снаружи обволакивает предмет; обмывает его, но не напоет; реальной сердцевины реально не касается. Напротив того, суровость ветхозаветная, по-видимому, грозит, гремит, весь Синай трясется: а смотришь, ядрышко все сохранено, красуется в обетованной земле, в славе, силе. «Жёстко постлано — а мягко спать», «мягко постлано, а жестко спать» — так бы русский ум формулировал дело.

В собраниях наших упоминалось о каких-то двух-трех сектантских семьях, у которых были отняты дети и переданы кому-то на воспитание. Какие пустяки: да кем же, как не каноническим правом, безосновательно вмешавшимся в брак, чем, как не странной претензией бессемейных келейников-монахов управлять судьбами семьи многомиллионных народов — населены воспитательные дома, порождена вся необозримая гибель христианских девушек и их детей? Кто об этом плачет? — ровно никто. Христианину обычно «варить козленка в молоке его матери», перед чем остановился Моисей и «жестоковыйный народ». Мы, видите ли, «кроткие сердцем», «миротворцы», и вообще лечили сердце свое всеми лекарствами нравственной аллопатии. Но это все не подействовало, а действует гомеопатическое: «Если бы вы вместили девство — впрочем, не как я хочу, а вы сами». И «сами» с таким упоением бросились к живой воде, что как табун, устремившийся на водопой, затаптывают каждого или каждую, кто поотстал в стремительном беге «испить».

Поэтому-то народы, особенно наш глубокий русский, и поклонились, и свели все почти христианство в поклонение «Скорбящей Божией Матери», «Нерушимой Стене», «Упованию рода человеческого». Какому «упованию»? Да вот, своей собственной скорби. В ней мы все солидарны. И, ползя в муке — разрываться в ней не должны, так, чтобы одни были в дне и свете, а другие в ночи и печали. Терпели уже долго, терпели все средние века, потерпим и в новые. Потерпим — пока объяснится все. Я думаю, было бы безнравственно вдруг в начале XX века выскочить в свободу, братство, «лилии полевые» и проч. Вдруг мы забыли бы всех мучеников — не Колизея, а начиная с Колизея. Есть нечто возмутительное в этом; и похоже на «подлость», по выражению Императора Николая, — «получить наследство после осужденного Гагарина». Отказаться от наследства далекому родственнику Гагарина было бы благородно. И мы, сохраняя благородство, уже поклонимся тоже лучше «Скорбящей Божией Матери», говоря, что уж если Ей, невинной, «оружие прошло сквозь сердце», то пусть и нам проходит, и так вечно до Страшного Суда. Тут есть такое глубокое недоразумение, что, между прочим, идея «Страшного Суда» сама собою уже образуется, как р а з ъ я с н е н и е. Просто невероятно жить со стрелой в сердце: «Да кто же вынет ее из мяса моего и когда?» Это «когда» — есть Страшный Суд, этот «кто» — есть так называемое «второе пришествие Христово». Кто завязал узел — и развяжет его. «Никто не может разогнуть книги сея», кроме такого-то «всадника, сидящего на белой лошади». Тут мы входим в апокалипсические времена, в дух совершенно новый, в прозрения совершенно новые, в отношении к которым, когда он повеет, синоптики так же постареют, «поветшают», как и Ветхий Завет когда-то при появлении этих синоптик.

О Сладчайшем Иисусе и горьких плодах мира

В нынешних[3 - Эта статья представляет собою доклад, читанный в Спб. Религиозно-философском об-ве в ноябре 1907 г.] «Религиозно-философских собраниях» поднимаются те же темы, которые волновали собою собрания 1902—1903 года. Это вопросы — о духе и плоти, «христианской общине» и общественности в широком смысле; об отношении Церкви и искусства; брака и девства; евангелия и язычества, и проч. и проч. В блестящем докладе «Гоголь и отец Матвей» Д. С. Мережковский страстно поставил вопрос об отношении христианства к искусству, в частности — об отношении, напр., Православия к характеру Гоголевского творчества. В противоположность отцу Матвею, известному духовнику Гоголя, он думает, что Евангелие совместимо со сладкою преданностью музам, что можно слушать и проповеди отца Матвея, и зачитываться «Ревизором» и «Мертвыми душами», от души смеясь тамошним персонажам. Пафос Димитрия Сергеевича, по крайней мере в ту пору, заключался в идее совместимости Евангелия со всем, что так любил человек в своей многотысячелетней культуре. Ему охотно поддакивали батюшки, даже архиереи, и все светские богословы, согласно кивавшие, что, «конечно, Евангелие согласимо со всем высоким и благородным; что оно культурно»: а посему культура и Церковь, иерархи и писатели

«Гармонично» сидеть за одним столом, вести приятные разговоры и пить один и тот же вкусный чай. Все было чрезвычайно приятно и в высшей степени успокоительно. Сервет в Женеве, Савонарола во Флоренции, оба сожженные, не могли подать своего голоса в наших спорах. С другой стороны, «Союз русского народа» еще не открывал своих действий. Мы дебатировали в 1902 г., забыв прошлое и не предвидя будущего, отдавшись сладкой минуте.

Мне кажется, вопрос разрешается с помощью мысленной инкрустации. Если кусок из прозы Гоголя, самый благожелательный, самый, так сказать, бьющий на добрую цель, вставить в Евангелие — то получим режущую, несносную какофонию, происходящую не от одной разнокачественности человеческого и Божественного, слабого и сильного, но от разно-категоричного: невозможно не только в евангелиста вставить кусок Гоголя, но — и в послание которого-нибудь апостола. Савл не довоспитался до Павла, но преобразился в Павла; к прежней раввинской мудрости он не приставил новое звено, пусть новую голову — веру во Христа, нет: он изверг из себя раввинство. Отношение в нем есть именно Савла и Павла: взаимно пожирающих друг друга «я». И так бывало со всяким, обращавшимся к Христу: пожирание новым старое. Апостол Павел вовсе не предлагал афинянам: «поверуйте во Христа сверх того, что вы ходите на олимпийские игры». В минуту отдыха, ну хоть какого-нибудь отдыха, суточного, часового, — он все же не пошел в греческий театр посмотреть трагедию. Тонким чувством психических нюансов мы знаем твердо, что об этом не только не рассказано в «Деяниях», но этого и не было. Павел в театре — невозможное зрелище!! Одобряющий игру актеров — какофония! разрушение всего христианства!! Между тем это было бы только то самое «примирение», «гармония», о которой спрашивает Д. С. Мережковский. Да, Павел трудился, ел, обонял, ходил, был в материальных условиях жизни: но он глубоко из них вышел, ибо уже ничего более не любил в них, ничем не любовался. Он брал материю только в необходимом и утилитарном, он знал и нуждался только в прозе плоти. Христос был единственным цветком в ней; моноцветком, если позволительно выразиться. «Я хожу, ем, сплю, вкушаю: но наслаждаюсь только Иисусом», — может сказать о себе всякий подлинный христианин.

Христос никогда не смеялся. Неужели не очевидно, что весь смех Гоголя был преступен в нем, как в христианине?! Я не помню, улыбался ли Христос. Печать грусти, пепельной грусти — очевидна в Евангелии. Радости в нем есть, но совершенно особенные, схематические, небесные; радости с неизмеримой высоты над землей и человечеством. Не будем обманываться «лилиями полевыми». Это, во всяком случае, не ботаника и не садоводство, не наука и не поэзия, а только схема, улыбка над землею. В том и дело, что Евангелие действительно не земная книга, и все земное в высшей степени трудно связуемо или вовсе не связуемо с ним в один узел; не связуемо иначе, как искусственно и временно. Позволю небольшую параллель. Наше ухо прожужжало слова: «христианский брак», «христианская семья», «христианские дети». Какая иллюзия! Конечно — ничего подобного не было, и до окончания века не будет!! Я вам предложил сделать инкрустацию из Гоголя в Евангелиста, и вы получили какофонию. Теперь я предложу вам предать одну из юных жен евангельских или которого-нибудь апостола — извините за смелость — влюбленным. Я извиняюсь, и вы чувствуете, что я должен был извиниться. Отчего? По мировой несовместимости влюбления и Евангелия. Я не читал «Жизни Иисуса» Ренана, но слышал, всегда в словах глубочайшего негодования, что дерзость этого французского вольнодумца простерлась до того, что которое-то из евангельских лиц он представляет влюбленным. Вкус всего мира, всех сонмов читателей Евангелия почувствовал в этом глубочайшее кощунство над его божественностью. Это тот же вопрос, что вопрос об отце Матвее и Гоголе. Только это другой пример. И между тем апостолы, как Петр и Иаков, были женаты. Да, но какой-то особенной женитьбой, евангельской. Пример, мною указанный, не пуст даже в практическом отношении. Церковь позволяет священникам жениться, но на ком-нибудь и сейчас, без выбора и влюбления, т. е. так все обставлено в их женитьбе, что жених может или должен быть влюблен в невесту не больше, чем офицер в солдата. Отношения офицера и солдата сохраняются, а любви нет; отношения мужа и жены сохраняются в христианстве, но любовь, из которой, казалось бы, и рождается брак, пройдена гробовым в нем молчанием, и даже преднамеренным, роковым, поту-светным. Ни смеха, ни влюбленности нет в Евангелии, и одна капля того или другого испепеляет все страницы чудной книги, «раздирает завесы» христианства.

Да, «мертвые» восстали, когда умер Христос: но зато таинственная «завеса Соломонова храма» — она «разодралась»... А ведь «закон» этого «храма»[4 - У Иезекииля, в видении таинственного храма, употреблены термины: «надо знать закон построяемого храма», «надо знать закон жертвенника в нем», т. е. принцип, существо, тайную идею и храма, и жертвенника.] состоял, между прочим, в том, что при постройке его нельзя было употребить как инструмента или как части хотя бы крошечного кусочка железа: ибо «из железа — оружие, а оно укорачивает жизнь»[5 - Так в одном месте «Талмуда» объясняется полное и тщательное изгнание железа и из материалов его постройки, и из орудий, инструментов, посредством которых он строился.]. Стало быть, тайная мысль храма — «удлинении жизни». Но оставим эти и многочисленные другие знамения. Вернемся к нашей частной теме.

Ни Гоголь, ни вообще литература, как игра, шалость, улыбка, грация, как цветок бытия человеческого, вовсе не совместимы с моноцветком, «Сладчайшим Иисусом». Но как же тогда мир? — заволплю я с Мережковским. Как же тогда мы, в цвете и радости своей жизни?

Все, что тогда говорили духовные лица на доклад Д. С. Мережковского, — что, например, они «пошли бы в театр, если бы театр был лучше», — уклончиво, словесно и вытекает из необходимости что-нибудь сказать, когда они явно не могут ничего сказать. Да, конечно, если бы на театральные подмостки вышли актеры и стали реветь о своем окаянстве, то гг. епископы с удовольствием пошли бы на такое зрелище. Но предложите им сыграть на флейте довольно невинную народную песню: «Во-лузях», — и они откажутся. Им вовсе не грешные удовольствия запрещены, им запрещено удовольствие как таковое. Все негрустное — им не позволительно. Вино, чай, большие рыбы, варенье, хорошая квартира и мебель — собственно прокрались к ним контрабандою. Но официально, в законе, в «церковных правилах» решительно невозможно сказать: «епископ может побаловаться хорошим рыбным столом»; а что он, например, должен есть одни сухие грибы — это можно сказать официально, по форме, вслух. Говоря так, я различаю в христианстве товар и контрабанду. Контрабандою прокрались в христианский мир и искусства, музы, Гоголь, хороший стол, варенье. «Это — позволено»; но никто не прибавит: «это — полезно» (формула ап. Павла), а в этой-то прибавке все и дело, вся поэзия, цветочек: коего решительно не допускает моно-цветок, Иисус.

Христианство и Евангелие сделало собственно бесконечное расширение объятий, я думаю — расширение охвата; широкое устье невода оно распустило на бесконечность: но это — лишь «позволенное» — есть именно проявление его собственной доброты, снисхождения, прощения. Ну, и Гоголя оно «прощает», и Пушкина, и варенье; даже блудницу и блуд, без коих, кстати, не попали бы в невод почти все святые, начиная с бл. Августина, знавшего бурную молодость. Но прощение — это вовсе не то, что призыв. Призваны-то христиане только к одному — любви ко Христу. Конечно, Гоголь со всем своим творчеством, и немало его не прерывая, мог бы «спастись». Но спасение спасению рознь: есть герои спасения, есть великие в христианстве, есть поэзия христианского спасения, в своем роде

духовный роман. Таковой прошли только мученики; и Гоголь стал и должен был мучеником, чтобы войти в роман и поэзию христианства.

Дело в том, что с христианской точки зрения невозможна акция, усилие, прыжок, игра в сфере ли искусства, или литературы, или смеха, гордости и проч. Варенье вообще дозволено: но не слишком вкусное, лучше — испорченное, а еще лучше — если бы его не было; но когда оно есть и даже вкусное — оно прощается... На этом основалась возможность христианской шири. Неводем «прощения», доброты своей, снисхождения — христианство охватило бездны предметов, ему вовсе ненужных, в его глазах ничтожных; схватило «князя мира сего» и повлекло его — к умалению. Христианство есть религия нисходящей прогрессии, вечно стремящаяся и никогда не достигающая величины: «Христос + 0». В каждый день и в каждый век, и во всяком месте, и во всякой душе человеческой получалось «Христос + еще что-нибудь», «Христос + богатство», «Христос + слава», «Христос + удобства жизни». Но это «что-нибудь», прибавленное ко Христу, в душе нашей всегда только снисходилось и малилось по мере возобладания Христа. «Князь мира сего», таял, как снежный ком, как снежная кукла весной около солнца-Христа. Собственно был оставлен христианам очерк «князя мира сего», семья, литературы, искусства. Но нерв был выдернут из него — осталась кукла, а не живое существо. Как только вы попробуете оживлять семью, искусство, литературу, как только чему-нибудь отдадитесь «с душою», — вы фатально начнете выходить из христианства. Отсюда окрики от Матвея на Гоголя. Не в том дело, что Гоголь занимался литературою. Пусть бы себе занимался. Но варенье должно быть кисло. Гоголь со страстью занимался литературою: а этого нельзя! Монах может сблудить с барышней; у монаха может быть ребенок; но он должен быть брошен в воду. Едва монах уцепился за ребенка, сказал: «не отдам»; едва уцепился за барышню, сказал: «люблю и не перестану любить» — как христианство кончилось. Как только серьезна семья — христианство вдруг обращается в шутку; как только серьезно христианство — в шутку обращается семья, литература, искусство. Все это есть, но не в настоящем виде. Все это есть, но без идеала.

Но как же тогда? где этому всему место? Д. С. Мережковский негодует на серый или пестрый вид христианства, его полосатость: черная полоска, белая полоска; скорбь — но не вечная; монастырь и пост — но среди хорошего ландшафта. Можно написать оду: «Размышление о Божием величии при виде северного сияния», но «Медного Всадника» написать — грешно. Но что такое чистый черный цвет? Это — смерть, гроб, о котором я говорил в одном из предыдущих своих докладов и коего решительно невозможно вырвать из христианства. Это его хребет и четыре ноги. «Гробом» оно бежит вперед, на гробе зиждется. Что такое чистый белый цвет? Воскрешенный эллин и иудей, воскрешенный Египет. Все три в светозарном новом воплощении, с какими-нибудь новыми нюансами, но в существе — они. Танец перед Ковчегом Завета, «воспойте Господу на арфах», как говорила Иудифь. Эллин есть успокоенный, не ажитированный иудей; иудей без глубины. Иудей есть желток того пасхального яичка, скорлупу и белок которого составляет эллинизм; скорлупу раскрашенную, литературную, с надписями «Христос Воскресе», с изображениями, живописью, искусствами. Мало ли что на скорлупе можно написать: целую эллинскую цивилизацию. Но скорлупа со всеми надписями хрупка, а белок мало питателен и не растителен. Важнее всего внутри сокрытый желток и в нем зародышевое пятнышко; это и есть жид с его таинственным обрезанием, вечный, неугасимый! Его сколько ни пинают христиане — не могут запинать до смерти. Это — «пархатое» место всемирной истории, крайне непрезентабельное на вид, но которым весь мир держится. Недаром египетские жрецы предупреждали римских воинов: «Эй, не громите стену Серапеума: если он разрушится, мир — не устоит». Без России мир слишком бы прожил; без Европы история была бы только корочка. Но без всем несимпатичного еврея история была бы без смысла, т. е. без души. Еврей есть душа человечества, его энтелехия.

Возвращаюсь к подробностям доклада Д. С. Мережковского. Бог имеет не одно дитя — Иисуса. Но двоих — мир и Иисуса. Мир есть дитя Божие, потому что сотворен Им. Как осколок, правомерный на бытие, в этом мире есть и Гоголь, поэзия, игра, шутка, грация, семья, эллин, иудей, да и все язычество. Все это — царство Бога-Родителя и продукт Его рождения. Церковь не сразу, не в апостольский век, но позднее, лет через 200—300 после Христа, задумалась: «как же мир?» и оттенила, вынуждена была оттенить: «Сын Божий» — об Иисусе, «Который стоит в тени и подобии своего Отца». Но церковь только назвала Отца, не в силах будучи что-нибудь о Нем подумать; — изобразила его в виде старого человека, впавши в явный антропоморфизм. «Бога никогда же никто не видел», — слова Нового Завета; «Нельзя видеть Меня и не умереть», — сказал о Себе Бог Моисею. Но христианские учителя всегда как-то видят и видели часть Писания, а все его никогда, кажется, не принимали во внимание. И вообще все церковные понятия как будто построены сквозь сон: тут вы найдете и яростный спиритуализм, и самый грубый антропоморфизм, и даже фетишизм. Все в эклектическом, «пестром» здании уместится. Вот в эту Отчую Ипостась, только нумерационно названную, и входит мир с его сиянием, с его идеалами, с комедией, с трагедией, с бытом народным; мир — святой во плоти, но святой — не во плоти Сына, но по исхождению из плоти Отца. Таким образом, в круге Иисусо-теизма вопрос Мережковского не находит никакого ответа или получает ответ резко отрицательный. Но в круге Три-Ипостасного исповедания Церкви вопрос находит полное и удовлетворительное разрешение. Но только церковь сама, кроме антропоморфического и грешного живописного представления, кроме в своем роде «выдачи документа на жительство», — ничего в отношении к Отцу не сделала. Она, правда, говорит: «Творец мира», «Промысл». Но это — отвлеченные предикаты. Творцу мира и Промыслу молились и евреи, называя его собственным, правда, никогда не произносимым, именем, и египтяне, и вавилоняне. Вообще Промысл и Творца мира всегда все народы знали, и признав «Отчую Ипостась» — учителя церковные, хоть безотчетно для себя, признали в сущности весь языческий мир. Случись это три века назад, апостолу Павлу не с чем было бы бороться. Его борьба, с высших точек зрения самой Церкви, была недоразумением. Никаких не было реальных причин из Савла обращаться в Павла, потрясать Синай, становиться презрительной пятой на Олимп и Капитолий: где под умаленными именами, не настоящими именами — поклонялись истинному существу Божию; славили в святых творениях святого Творца. Но загадка истории заключается в том, что был именно Савл и затем стал именно Павел, а не просто был Павел, прибавивший к раввинской мудрости знание Христа. Навсегда останется тайною: отчего же Никодим не признал Христа? Отчего его не принял Гамалиил, и вообще кроткие евреи, совершенно будто христиане по очерку души, по быту и характеру? Ничего они об этом не рассказали и скрыли в каком-то молчании главную тайну мира. А если б они ее сказали, то не было бы столкновения от Матвея и Гоголя. Не было бы инквизиции, не было бы истребления ею инков и перуанцев. Не возник бы с какими-то своими секретами иезуитский орден, фанатичный до сумасшествия и лгуший, как «сорок тысяч братьев», по выражению Шекспира.

Дело в том, в согласии ли дети Божии — Мир-Дитя и Иисус-Дитя? Вот вопрос, куда подводит нас доклад Мережковского. На этот вопрос я ответить не умею, и на него нельзя ответить без детальных изысканий, проверок, сопоставлений.

Мир раздался — и пало в него Евангелие. Мир его принял, принял с любовью. Евангелие инкрустировалось в мир.

Но Гоголь инкрустирует не входит в Евангелие; любовь, влюбление инкрустируются туда. И Евангелие вообще не раздвигается для мира, не принимает его в себя. Мир — за переплетом небесной книги. И с него сходит румянец, он бледнеет, как только приближается к этому переплету. Тут я вспоминаю бледного Всадника из Апокалипсиса, но сейчас не могу хорошенько припомнить, что он значит. Вопрос Мережковского мы разрешить не можем, и только можем подготовить условия к его разрешению.

Сколько я убедился, слушая здесь гг. духовных лиц, они не имеют вовсе, так, сказать, метафизики христианства, не только верной, но и никакой. Им христианство просто представляется добрым явлением. «Мы — добрые люди, и не понимаем, чего вы от нас хотите» — вот смысл всех их ответов на светские недоумения. Когда раздаются некоторые упреки, они говорят: «мы — люди скромные, и сознаемся», и улыбка довольства почти увеличивается на их лице. С этой позиции добродетели их невозможно сбить. «Решительно мы исповедуем самую добродетельную веру, и сами — самые добродетельные люди, добродетельные до скромности, до сознания своих грехов, до высшей деликатности, к какой способен человек». Между тем светские недоумения, так сказать, катятся по обручу метафизики. Нам, светским людям, кажется невозможной религия как только добродетель, как *summa virtutem*[6 - высшая добродетель (лат.)]. Религия — тайна, тайный узор стальной твердости, отнюдь без податливости в себе. Мы хотели бы, чтобы духовные лица загремели негодованием, анафемами: тогда мы и увидели бы границу между собою и ими, которую теперь решительно не видим. — «Ну, и мы — добрые люди, я, Мережковский и др.» По негодованию духовных лиц мы увидели бы, что они любят, и бросились бы анализировать это любимое, рассматривать, может быть, любить. «Христианство есть гроб и смерть», — говорят им. — «Ну, что вы, отнюдь нет, — отвечают они, — сочувствуем всякой радости». — «Тогда пойдите в театр, но хоть на Бориса Годунова — произведение патриотическое, или на Жизнь за царя, кажется, чего выше». Пропуская молчанием Годунова и Глинку, они говорят: «Театр недостаточно серьезен». Да что до того, ведь есть же у Александро-Невской лавры амбары хлебные, а торговля запрещена Спасителем? Они это пропускают мимо, или лучше говорят: «Ну, вот, Христос не чуждался земли, ел с мытарями и грешниками». — «Тогда пойдите в оперу». — «Не можем, низко». Но дело не в том, что низко, а в том, что весело. Вот ничего веселого и счастливого их «устав» им не позволяет. Веселое и счастливое — отрицание смерти, забвение гроба. Семья, искусства — украшения жизни. И гроб иногда украшается позументами, серебряными ручками. Вот хорошие ландшафты около монастырей и суть такие серебряные ручки около гроба. Доклад Мережковского — вторично после моего доклада о смерти как главном идеале христианства — ставит вопрос: «что же такое христианство?», и на него решительно невозможно отвечать моральными ответами: «мы добрые люди», а нужно отвечать метафизически и доказательно. Мне кажется, нам нужно отвести одно заседание выслушанию сплошных ответов духовенства по этому вопросу, но не красноречивых и закругленных, не моральных и уклончивых, а хотя бы негодующих, даже анафематствующих, однако прямо отвечающих на вопросы. Ибо нам больно от нашего незнания. Мучительно.

Позволю себе, в помощь будущим рассуждениям, маленькую личную догадку, вовсе не догматическую. Иисус действительно прекраснее всего в мире и даже самого мира. Когда Он появился, то как солнце — затмил Собою звезды. Звезды нужны в ночи. Звезды — это искусства, науки, семья. Нельзя оспорить, что начертанный в Евангелиях Лик Христа — так, как мы Его приняли, так, как мы о Нем прочитали, — «слаще», привлекательнее и семьи, и царств, и власти, и богатства. Гоголь — солома пред главой из евангелиста. Таким образом, во Христе — если и смерть, то сладкая смерть, смерть-истомы. Отшельники, конечно, знают свои сладости. Они томительно умирают, отрекаясь от всякого мира. Перейдем к мировым явлениям. С рождением Христа, с воссиянием Евангелия все плоды земные вдруг стали горьки. Во Христе прогорк мир, и именно от Его сладости. Как только вы вкусите сладчайшего, неслышанного, подлинно небесного — так вы потеряли вкус к обыкновенному хлебу. Кто же после ананасов схватится за картофель. Это есть свойство вообще идеализма, идеального, могущественного. Великая красота делает нас безвкусными к обыкновенному. Все «обыкновенно» сравнительно с Иисусом. Не только Гоголь, но и литература вообще, науки вообще. Даже более: мир вообще и весь, хоть очень загадочен, очень интересен, но именно в смысле сладости — уступает Иисусу. И когда необыкновенная Его красота, прямо небесная, просияла, озарила мир — сознательнейшее мировое существо, человек, потерял вкус к окружающему его миру. Просто мир стал для него горек, плоск, скучен. Вот главное событие, происшедшее с пришествием Христа. Возьмем маленькую параллель. Мы изучали бы средневековых князьков, если бы не было Карла Великого. Если бы не было Эллады, мы, пожалуй, внимательнейшим образом изучили бы и историю разных монгольских племен. Мы были бы внимательны к малому и некрасивому. Но когда есть великое, какой интерес в малом? Таким образом мир стал тонуть около Иисуса. Наступил всеобщий потоп прежних идеальных вещей. Этот потоп и называется христианством. Тонули «боги», «Иеговы», «Дианы»; тонули человеческие относительные идеалы пред мировым, небесным идеалом. И ведь невозможно не заметить, что лишь не глядя на Иисуса внимательно — можно предать искусствам, семье, политике, науке. Гоголь взглянул внимательно на Иисуса — и бросил перо, умер. Да и весь мир, по мере того как он внимательно глядит на Иисуса, бросает все и всякие дела свои — и умирает. «Меня тебе невозможно увидеть, и не умереть», — сказал Бог Моисею. Юноша из Саиса взглянул на «Божье существо», и умер. Вообще, смерть и познание Бога как-то взаимно требуются. Бог все же не мир. И как только вы на Бога взглянули — так и стали куда-то «переходить из мира», «умирать». Я заметил, что тон Евангелия грустный, печальный, «предсмертный». Но грусть выше радости, идеальнее. Трагедия выше комедии. Мы все сейчас хороши; а превосходны станем в минуты грусти, потеряв жену, детей. Бедняк красивее богача: бедняка и поэты берут в описание. А богача кто же описал? Это сатирический сюжет. Таким образом, одна из великих загадок мира заключается в том, что страдание идеальнее, эстетичнее счастья — грустнее, величественнее. Мы к грустному невероятно влечемся. Не здесь ли секрет религиозной жертвы детей Богу, этот никогда не разгаданный секрет Молоха? Люди переживали небесную грусть, искали ее пережить; всем для этого жертвовали, главным: «Смерть — уже до смерти»: вот — Молох!

Возвращаемся к частному нашему вопросу. Всеобщее погребение мира в Христе не есть ли самое эстетическое явление, высший пункт мировой красоты? Гоголя нельзя инкрустировать в Евангелия; нельзя, значит, вводить и в христианство; его просто надо выкинуть. Но не с земных точек зрения, а именно с монашеской, как сладостного умирания во Христе. Гоголь любил мир и нас привязывал к миру. Это задерживает мировой финал. Вообще вся история, быт, песни, литература, семья суть задержки, теперь уже слабые — со времени Христа слабые — задержки мирового испепеления всех вещей во Христе-смерти. Смерть — вот высшая скорбь и высшая сладость. Таинство смерти никто ведь не разгадал. Она венчает скорби, а в скорбях истомы таинственной эстетики. Трагедия трагедий. С этих точек зрения Христос есть Трагическое Лицо — как всегда и открывалось человеку, вождь гробов — как опять же это открывалось человеку: а мы не знаем, что это все — божественное, и именно не знаем — поскольку еще живем, так как жизнь есть «та сторона», «изнанка» Бога. Пытаются смерть отождествить с рождением. Возможно. Но отчего, например, рождение не отождествить со смертью? Когда родился человек — он в сущности умер; утроба матери — могила, уже зачатие меня — переход в смерть. Дело в том, что «здесь» и «там» пропастью разделены, как «низ» и «верх», «наружное» и «внутреннее». И что бы ни поставили на одном, какой бы термин, какой бы значок ни начертали — на другой придется выставить термин противоположный. «Мир», «бытие», «жизнь наша» — не божественны; значит, «гроб», «после кончины», «тот свет» — божественны. Или наоборот: «мир», «бытие», «жизнь наша» — божественны; тогда

«гроб», «после кончины», «тот свет» — демоничны.

Но очевидно, что Иисус — это «Тот Свет», поборающий «этот», наш, и уже поборовший. А предикаты к нему, из которой угодно линии равно возможных, вы изберете по усмотрению сами. Церковь всегда считала Христа — Богом, и eo ipso принуждается считать весь мир, бытие наше, самое рождение, не говоря о науках и искусствах, — демоническими, «во зле лежащими». Так она и поступала. Но это не в смысле, что чему-то надо улучшаться, а просто — что всему надо уничтожиться.

Примечания

1 «хорошую мину при плохой игре» (фр.).

2 неистовство (лат.).

3 Эта статья представляет собою доклад, читанный в Спб. Религиозно-философском об-ве в ноябре 1907 г.

4 У Иезекииля, в видении таинственного храма, употреблены термины: «надо знать закон строяемого храма», «надо знать закон жертвенника в нем», т. е. принцип, существо, тайную идею и храма, и жертвенника.

5 Так в одном месте «Талмуда» объясняется полное и тщательное изгнание железа и из материалов его постройки, и из орудий, инструментов, посредством которых он строился.

6 высшая добродетель (лат.).